

# **ВОЛЯ РОССИИ**

---

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ**

**ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
В. И. ЛЕБЕДЕВА,  
М. Л. СЛОНИМА,  
Е. А. СТАЛИНСКОГО,  
В. В. СУХОМЛИНА**

**7-ой ГОД ИЗДАНИЯ**

**I**

**ЯНВАРЬ**

**ПРАГА  
1928**

## СОДЕРЖАНИЕ:

Николай Еленев Mizzi .....	3
Пражские поэты:	
Николай Болесчис .....	21
К. Ирманцева .....	23
Вячеслав Лебедев .....	24
М. Мыслинская .....	27
С. Нальянч .....	28
Алексей Фотинский .....	30
Алексей Эйснер .....	36
Елена Якубовская .....	39
Вячеслав Лебедев. Санкт-Петербургское происшеств- вие .....	40
Е. Ю. Григорович. Г. Лопатин .....	47
Глеб Гонцов. Снова по родной земле .....	59
Ю. Марголин. Заметки о Пушкине .....	72
Марк Слоним. И. Бабель .....	106
С. Верещак. Хозяйственная политика СССР .....	118
Н. Пораделов. Красная армия .....	128
В. В. Сухомлин. Политические заметки .....	137
Иностранная жизнь:	
В. Р. Польско-литовская проблема .....	146
Иностранцы о России:	
Б. Ар. Россия в 1927. (Впечатления французского журналиста) .....	150
Среди книг и журналов:	
В. Архангельский. Коммунистические критики и совет- ская литература .....	158
С. Постников. Последние стихи Сологуба .....	166
Отзывы о книгах:	

# Г. А. ЛОПАТИН

ВОСПОМИНАНИЯ 1909-1916 ГГ.

Многие из выдающихся людей исчерпывают себя по существу в своих научных трудах, художественных произведениях, общественной деятельности, личное знакомство с ними не дополняет, а иногда и заслоняет их подлинный образ. Этого нельзя сказать о Германе Александровиче — он представлял собою как бы цельное художественное произведение: богатство и красота его слова, игра мимики и жестов, да и внешность — и из былин, и из Дворянских гнезд — досказывали его внутренний лик. Писать о нем повтому трудно, особенно мне, попавшей в беллетристический отдел его жизни. Я познакомилась с ним на Генуэзской Ривьере в 1909 году, мы часто встречались, а иногда по неделям жила вместе в доме д-ра З. Жизнь в обстановке полу-дачи, полу-санатории складывалась из мелочей ярких сегодня, бледнеющих в пересказе. Но нигде так правдиво не сказывается человек как за-кулисами своей общественной роли, и редко кто выдерживает, как он без ущерба, испытание повседневностью. Это не значит, что любители точных фотографических снимков не могли бы и в нем подметить слабости или недостатки — кто же от них свободен! Но не ими человек индивидуален, не мерой мига мерить то, что вечно.

\*  
\*\*

Постоянный кров Г. А. был в эти годы сперва в Кави, потом в Феццано. Время от времени он приезжал погостить в З-м, у которых жила его любимая племянница, Злата Александровна Лопатина, тогда студентка медицины Генуэзского университета. Она лечилась от туберкулеза легких, но это не мешало ей оглашать виллу звонким смехом, с'езжать из этажа в этаж сидя на перилах лестницы, сдавать экзамены и успевать шить себе пла-

тъя одно за другим. Она с увлечением препарировала живую голотурию и заботливо перевязывала отнятую от кота землеройку; хохотала над жалостным видом больных и почти напролет просиживала у их постели, выказывая редкую чуткость и умение в уходе. Мальчишеские ухватки, резкость манер и выражений и тонкий очерк белокурой головки на стройном гибком теле. Да и самое имя ее — в сущности «Златояна» — звучало мягко наперекор категорическому «Злата». Отношения их с Г. А., шутивно-суровые с виду, были глубоко правдивы, полны задушевности и понимания.

Жена д-ра З., Ольга Эммануиловна (рожд. гр. Сиверс) страдала тяжелой болезнью сердца — казалось, вот-вот растает эта хрупкая фигурка, это истонченное лицо с большими глазами цвета старого золота. Но слушая еживленную речь и светлый смех, глядя на четкие стремительные движения не верилось, что она больна: энергия мысли, воля к жизни озаряли все кругом сиянием ее красивой солнечной души.

Я приезжала из Парижа на летние месяцы, подлечить сердце и запастись этюдами южных красок, и созвучно влеталась в медицинскую фугу «непокорных» пациенток. Впрочем, д-р З. не утеснял, и мы отлеживали положенные часы на соломенных креслах, вдоль и поперек веранды с оранжевыми розами на мраморных колонках, не переставая заниматься каждая своим делом; поэтому притязали на отблеск ореола «героев и мучеников».

Однако появления среди нас Г. А. сбивали нам спеси: «одна обнимает грелку, другая прижимает к сердцу пузырь со льдом... да и охота же вам считать удары собственного пульса!... какая там болезнь — одно воображение!..»

Но кому ж было утнаться за Г. А.: он купался в море в тихую погоду и в бурю, летом и зимой, совершал прогулки по Альпам, сушил промокшую обувь на ногах — «эдак не теряют формы...» Только слух огорчал — «не слышу больше писка летучих мышей». Однако в разговоре участвовал свободно, из нас одну меня приходилось иногда переспросить: «не говорит, а дышит», замечал с досадой. Или внимательно прослушает и вместо ожидаемого ответа: «ну, а теперь скажите словами, что вы там такое надышали!»

В привычках своих Г. А. был очень прост, почти суров, но одна была беда — папираса! Курил мало, изредка, но бросить не удавалось. Мне приходилось бывать невольной виновницей его «падений» (я курила), а он переживал их гораздо острее, чем — казалось бы — стоило. «Да не в папиресе дело, поймите вы это», сказал он как то в ответ на мое недоумение, из-за чего он волнуется, «а во мне самом. Ну чего же стоит человек, который не может преодолеть себя!»

Довелось однажды и не самозванному герою попасть в наш лагерь болеющих: одолела отдышка, бессонница, сердцебиение. Вопреки «заведомому призванию докторов придумывать болезни», он, наконец, поверил З-ву, что необходимо отдохнуть от морских купаний, и даже снизошел до получаса лежания «вдоль и поперек» балкона, и даже покорно вышел раз утром стакан горячей карльсбадской соли: она предназначалась для чьей то печени, но по ошибке была подана ему — «а я думал, тут у вас принято пить по-утру кипяток вместо чаю...» Тогда З. дерзнул посоветовать принимать дней десять строфант. Г. А. не перечил: положил крупинку на богатырский палец, долго смотрел, покачал головой — «и это — мне?!» И проглотил. А на-завтра его и след простыл. Мы недоумевали. Через день получилось из Кави: «Купаюсь. А строфант пусть уж принимают те, кому охота» — и дальше следовали весьма постыдные для «героев и мучеников» вариации на тему грелок и пузырей со льдом.

Он, впрочем, обыкновенно исчезал так же внезапно, как и появлялся.. «Ты, Златка, если хочешь проводить, поторапливайся, поезд через 20 минут», — заметит бывало за завтраком. — «Как? Зачем? хоть денек еще!» — «Да я уж написал, ждут». — Мы грозились впредь перехватывать его письма. «Вот и хорошо, что всегда сам отношу их на почту», — отшучивался Г. А., и неумолимо уезжал. Он, действительно, не доверял ничьей аккуратности — «проносят письмо лишней день в кармане, или не в тот ящик опустят»... — До чести отправить его письмо так никто из нас и не дорос. Он вообще никому и ничему не доверял на-слово, даже иной раз обидно станет. — «Да вы поймите, я ведь не вам не верю... вот англичане это понимают: у них форма присяги не «клянусь говорить всю правду», а «то, что считаю правдой». А то кто-ж может поручиться за безошибочную правду». —

Однажды Г. А. поинтересовался, сколько я обычно перевожу страниц в день — книга была размера общепринятых французских изданий.

— Двадцать или около того. Вначале идет медленнее, но когда входишь в ритм...

— Какой там еще ритм! (Г. А. усматривал во мне уклон в «декадентство»). — Не может этого быть. Рука то успеет, да внимания не хватит.

Об'яснения, как я работаю и почему внимания хватает, не убедили — кончилось испытанием на его глазах, с часами в руках. — «Да, это быстро... А впрочем», — спохватывается, — «надо еще посмотреть, что вы там написали за два часа — быть может, чтобы не пришлось переделывать!» — Прочитал. Смущился — «да... гм...», — снимает очки, потирает лоб, глаза, —

«ну, хорошо, а чем объясняет Морэ, что египтяне» — и мы заговорили о книге. Однако, было ясно, что я вдруг подросла.

Обижаться на Г. А. было бы нелепо, это в шутку иной раз «даже обидно» станет: юмор его не звучал жестко или пренебрежительно, а то, что многие считали в нем упрямством нрава, было скорее проявлением его действительного ума, его объективного искания истины. Он обладал редким даром — умением мыслить, умением подчинять мысль своей воле, не позволяя ей носиться по волнам впечатлений, настроений и личных вкусов. Для него не существовало не стоящих внимания пустяков — он и к ним подходил не пустяшно, и самое заурядное что — превращалось в интересное как. Поэтому общение с ним, не громоздя высоких и принципиальных вопросов, незаметно будило мысль и приучало додумывать даже пустяки. А в серьезном споре он прежде всего умел поставить вопрос, слушал внимательно и возражал спокойно: спор, обычное ристалище самолюбий и навязывания собственных мнений, становился обоюдным исканием истины.

Самому себе он так же не доверял, как и другим. Не полагаясь на собственную память или догадку, он то и дело справлялся в специальных трудах, в словарях. Иногда пройдет много недель и уж забудешь заданный мимолетно вопрос, он вдруг скажет: — «А помните, вы недоумевали, какой символ в имени «Alise» — не «Alice», конечно, это не опечатка. Оказывается, «alise» — ботаническое название, трава эта зовется у нас в простонародье «кручиной». Должно быть, и у французов с ней связан подобный же смысл. Вот вам и разгадка имени принцессы, которая не умела ни смеяться, ни улыбаться».

Но случались со справками и комичные недоразумения. Помню, зашла речь о каком то злаке. Кто развел его в Европе? — поинтересовался Г. А. Нам это было безразлично, он же тотчас поднялся в библиотеку З. за энциклопедическим словарем и погрузился в толстый том. Говорилось о еврейской колонии, в каком то веке там занимались культурой растения. Г. А. заглянул в «Огородничество» — перечислялись евреи, особенно преуспевшие в огородничестве. — «Странно... гм...» — и раскрыл книгу наугад: какой то раввин... Г. А. недоуменно откладывает книгу в сторону и принимается за простоквашу. Недоволен и молчит. Злата Александровна смотрит на том и вдруг раздражается звонким смехом: — «Дядичка! да ты не то принес! это же словарь Сионистов»!.. — Герман Александрович, конечно, проверил — усмехнулся: — «то-то, я вот и сам думаю — будто уж одни только евреи»...

Чтобы «не зря отдыхать», Герман Александрович занялся итальянским языком: читая газеты, он больше угадывал, чем знал, в обиходе же объяснялся при помощи самодельных производных, вроде «un gwozdiko». Мы же с Ольгой Эммануиловной читали и говорили свободно — предложили читать вместе новеллы Папини. Но наш «ученик» часто ставил нас втупик догадками и распросами — почему, да какая это форма, и какой корень, и нет ли еще какогонибудь смысла — «нет, тут чтонибудь не то» — бежал справляться и, по большей части, бывал прав. Тут уж нам и не в шутку даже обидно становилось!

Родной речью он владел в совершенстве и не прощал небрежного отношения к слову. — «У меня сегодня мозги плохо работают» — замечает кто-то из гостей. Герман Александрович усмехается — «мозги! будто телячьи!» — и прибавляет с укором: «мозг!» — Не любил тоже, когда женщина употребляла грубые выражения, и вообще сохранил приемы и привычки своего воспитания и типичной среды дворян шестидесятых годов, да не расстался в душе и с ее, так называемыми, предрассудками...

Страстная любовь к русскому языку и литературе, особенно к Пушкину, роднила его с Ольгой Эммануиловной. Она выросла в доме своего дяди по матери, известного в Москве князя Александра Ивановича Урусова, знатока и покровителя искусства, прекрасно знала языки и впитала дух тонкой умственной культуры царившей в урусовском особняке у Арбата. Здесь же возникла ее тесная дружба с семьей К. Д. Бальмонта и самим поэтом, которого Александр Иванович «открыл» и поддержал в первых шагах его в славе.

Герман Александрович и Бальмонт не встречались, но, как «друзья друзей» ближе узнали друг друга и обменялись письменным рукопожатием: Герман Александрович получил при нас посвященный ему стих — был тронут вниманием и чуть-чуть улыбнулся на революционный пафос, как улыбается испытанный в боях воин на ружье в руках ребенка! Через месяц нам довелось присутствовать при получении Бальмонтом его ответа, тоже в стихах: Бальмонт был тронут вниманием и — тоже чуть-чуть улыбнулся, как улыбаются на ребенка, с поздравлением в стихах.

\* \* \* \* \*

Живость и свежесть ума и души после 22-х летнего одиночного заключения поражала в Германе Александровиче еще больше, чем физическая бодрость. Но мы, конечно, не могли судить об опустошениях, произведенных в нем Шлиссельбургом.

Сам же он скажет иной раз: «Эх, Шлюшин,<sup>1)</sup> сколько жизни загубил!» и взгляд станет чужим и далеким. Суровые годы не иссушили его, а, быть может, и обострили способность любить каждое биение жизни, каждое право на жизнь. Я принесла ему как то светляка показать, думала обрадовать — они в ту пору были редки. Он посмотрел и сказал серьезно и просто: — «и зачем было уносить его с места? там у него, наверное, свой дом»...

О Шлиссельбурге мы его не расспрашивали, зная, что он тяжело переживает эти воспоминания. Но о жизни на воле он рассказывал охотно, с той яркостью переживания самого факта и объективностью лично к себе, с какой художник творит образы, превращая в модель и себя самого.

Вот один из характерных случаев:

Он ехал в Ташкент в сопровождении жены, пятилетнего сына Бруно и его гувернантки. Солнце палило в степях, единственным облегчением было выкупаться — изредка попадались глубокие колодцы с холодной водой на дне. Купался сам, купал и сына — обвязывал веревку вокруг пояса и опускал в колодез. Так было и на этот раз: обвязал и быстро опустил. Плеснула вода — тут надо потуже держать. Да странное что то, веревка какая то легкая... Вот когда на опыте познал, что такое с т р а х! Чего-чего не бывало — не знавал страха. А тут испытал, вот точно так, как описывают: и руки и ноги как плети, и волосы на голове зашевелились, и холодный пот на всем теле... Это был один лишь миг, да на всю жизнь хватит... Тотчас опомнился, обвязался веревкой, прыгнул головой вниз, нащупал мальчика под водой — живъ! Поднял его над водой, а самому никак не перевернуться — тесный был колодез... Извернулся, наконец, — выбрались. Жаль мальчугана, да и сам волнуется. А показать нельзя — сознает пережитое, трусом станет. И, не давая времени опомниться, понять, что с ним случилось, Герман Александрович делает вид, будто сердится — «ахъ, ты, разиня ты эдакая... и пояс то затянуть по настоящему не сумел... ну, кто-ж так делает?.. гляди» — и обвязывает веревку вокруг тела — «видишь? вот это так узел... вот теперь и купаться можешь» — и вторично бросает его в воду!

Тут Герман Александрович помолчал — он все еще волновался при воспоминании. А потом перешел в шутливый тон: предстояло «самое страшное» — сообщить о происшедшем жене. Она и то уж едва согласилась на купания Бруно, теперь запретит. И мальчик запомнит случай, поймет собственный страх. А учить лгать тоже не дело. Как тут быть? И вот «мужчины» да-

1) Так называли узники Шлиссельбургскую крепость.



ют друг другу слово и виду не показывать, «чтобы не напугать женщин».

Из Бруно вышел превосходный пловец. Герман Александрович страстно любил воду, и привил эту любовь и сыну.

Первые уроки плавания происходили в купальне. Убедившись, что мальчик может самостоятельно проплыть несколько сажен, Герман Александрович задает ему задачу: «доплыть без помощи вон до той ступеньки. Только чур не робеть и не звать меня, я помогать не стану. Решай сам — хочешь?» — «Хочу!» — Герман Александрович отпускает, — конечно, следит за каждым движением. Бруно плывет, но на пол-пути робеет — «я не могу!» — «Можешь! плыви дальше!» — Бруно забарахтался, доплыл, сел на ступеньку и залился горячими слезами. — «Ты чего?» — «Я тебя зва-а-ал!.. а ты мне не помо-о-ог!».. — «Глупый! Помоги я тебе, ты бы так и не знал, что уже умеешь плавать. А теперь знаешь. Ведь, знаешь?» — Бруно совсем было утешился, но вдруг снова расплакался. — «Ну, что еще?» — «А ты меня не пожалел!».. — «Как не пожалел? Пожалел, конечно, пожалел, да виду не показал, а то-б ты не доплыл» — «Так пожалел»!!.

\* \* \* \* \*

О жизни Германа Александровича в Кави, где была тогда колония эс-эров всех оттенков, я мало знаю. Его любили, чтили, как мудрого и правого советчика, у него были для всех меткие прозвища: группа бежавших из Москвы каторжанок именовалась «амазонками», барышни, работавшие на пишущей машинке, «стучолками»; чету нежных супругов из молодых эмигрантов он называл «Митясаша» или «Сашамитя», смотря по тому, о ком из обоих шла речь. Но доводилось иногда изведать и «ослиное копыто». Он упоминал об этом вскользь, с обычным юмором, под которым крылись подчас болезненные раны. — «И невоспитанный же нынче народ! Толкнет или на ногу наступит и даже не извинится».

В 1910 году в Кави произошла семейная драма: разошлась чета Т., мать похитила детей и бежала. Дали знать полиции, ее задержали на границе и водворили обратно в Кави, а детей отдали отцу. Разлад супругов разросся до раскола колонии, семейные дразги переплелись с принципиальными вопросами революционной чести, права прибегать к административной власти и т. д. Обратились к Герману Александровичу, как к «судье чести», сперва супруги, потом их ближайшие друзья, потом примкнувшие к той или другой стороне «партии»... Герман Александрович не стерпел — «разбираться в чужих интимных

делах — нет уж!»! — и уехал к нам. Но семейная лавина настигла его и здесь. Приезжал в числе прочих и максималист Коллегаев (не знаю, он ли был впоследствии народным комиссаром земледелия в Москве, — их было два брата): он помогал Т-ой увезти детей и сопровождал ее до границы, а когда их задержали, всю ответственность сложил на нее, и ее арестовали. Герман Александрович возмутился. — «Как же вы могли допустить, чтобы арестовали женщину, да еще с двумя малыши детьми! Вы должны были принять вину на себя!»! — «Но, ведь, меня могли, в таком случае, арестовать!»! — «Эка важность! Ну, посидели бы два-три дня»... — «Вам хорошо говорить, Герман Александрович, вы привыкли сидеть, а мне то какво!»!

Долго вспоминал Герман Александрович, что «привык сидеть», посмеется, а потом задумается, и скажет брезгливо: «тоже... революционер»...



Осенью 1911 года Ольга Эммануиловна почувствовала себя покрепче и решила, что «довольно уж строфантов — хочу в Париж!»! — Она так поверила в свои силы, что оставалось только поддержать этот порыв — кто знает? Вера сдвигает горы! Вилла ожила, будто вольный ветер распахнул окна, и солнце ворвалось в осторожный полусумрак. Мы стали готовиться в поход, известили Бальмонтов — они ждут, радуются, готовят ей уют. Полетели письма и цветы из Нерви в Париж, письма и стихи из Парижа в Нерви...

В один из таких дней, внезапно, чем когда либо, появился Герман Александрович. Прямо с Альп из Швейцарии. Он весь дышал радостью, солнца, снега, высоты, «будто в русскую зиму окунулся!»! Нам сразу бросились в глаза новые очки на нем — это было событием: он свои прежние очень любил и берег. Где же они? Скатились в пропасть! сам не докатился, успел врыться ногами в снег. Очки свалились, палка отлетела — без них и двинуться нельзя. Так несколько часов и просидел на месте — уж вечерело, когда шли мимо англичане с проводником — с ними и вернулся. А брать самому проводника не хотелось, уж очень хорошо там дышалось одному среди снегов — ведь, с России снега не видал! Новые очки он окрестил «безоглядными», да таким казался и сам. Наше предприятие, тоже «безоглядное», ему пришлось по душе: он горячо поддержал решение Ольги Эммануиловны — «давно бы так!»! — К этому времени относится упомянутый привет солнечного поэта солнечному герою революции.

Я воспользовалась благим настроением и попросила Германа Александровича уделить мне несколько часов для наброска

с него красками. Мне давно уж хотелось написать его, непременно на фоне седых валов, седых, гонимых ветром туч — «аккорд мятежных стихий», на моем языке тех лет. Он согласился сразу и просто, подшучивая, конечно, над «аккордом». Но ему пора к себе домой, мы с Ольгой Эммануиловной приедем в Феццано, я буду писать этюд для портрета, а она журчать вместо фонтанов, которыми Леонардо развлекал Мону Лизу.

В Феццано я впервые увидела Германа Александровича не редким гостем, а «у себя дома». — Как много значит фон, — подумалось мне. Здесь, рядом с исполинским хозяином дома, он показался мне ниже, хуже. И как то мало места занимал за обеденным столом. Все здесь — и дом, и сад, и «стуколки», и дети хозяев, и дѣти прислуги, и куры, и изумительно чистая бледно-розовая свинья — все было так безукоризненно, так гладко, так сыто, так равноценно! Какая то сурдина приглушила мой «аккорд», вместо «мятежной стихии» я написала добросовестно похожий и ничего не говоривший этюд.

Однако, нечто более глубокое заставило меня пока отказаться от мысли о портрете: я только теперь всмотрелась в глаза Германа Александровича, скрытые нависшими бровями и очками, и они сказали мне что то, что опрокинуло мой прежний замысел. Глаза были совсем неожиданные, не соответствовали ни всей его внешности, так прочно стоявшей на земле, ни выразительности мимики и движений, ни душевному складу с его богатством и «безоглядочностью» переживаний этой земной жизни, этого данного мгновения. Глаза были цвета воды, «никакого» цвета. И так же чужды всему кругом, как вода. Они и по выражению были «никакие», ни добрые или строгие, ни веселые или задумчивые: они смотрели, а через них смотрел кто то, чужой и далекий и окружающему, и самому себе, смотрел на мир и на самого себя, как ученый смотрит на свои опыты, — кто то неизмеримо больший, чем «беллетристический» Герман Александрович, чем исторический Герман Лопатин...

\* \* \* \* \*

Ольга Эммануиловна благополучно выдержала испытание Парижем. Без «строфантов» не обошлось, но она вернулась через два месяца в Италию полная веры в свои силы. А несколько недель спустя простудилась и умерла — без страха, без жалоб — красиво: вдруг растаяла, как золотое облачко.

Германа Александровича ждали на похороны. Он не приехал. Написал, что если бы для ее спасения нужно было придти пешком, он пришел бы пешком, что ему дорога была в ней ее жизнь, а что-ж провожать бездушное тело...

\* \* \* \* \*

Мне не случалось говорить с Германом Александровичем на религиозно-философские темы. Только раз, да и то полу-шутя, зашла речь о смерти. Злата Александровна «завещала бы свой труп в анатомический театр, пусть послужит науке». Я выразила желание, чтобы меня бросили после смерти далеко в море. «Там акула может с'есть», — заметил Герман Александрович. — «Это ничего, пусть ест, лишь бы в море остаться». — На акулу он не согласился, но море очень одобрил. Однако, лучше всего было бы, чтобы тело его «отвезли в лодке куданибудь подальше на необитаемую скалу и там бы и оставили у самого моря, под южным солнцем. Я думаю, — добавил он серьезно, — что в клеточках организма, еще долго после момента смерти, сохраняется какая-то своя жизнь, свое особое сознание. Надо дать организму спокойно выдохнуть из себя всю жизнь. Всякое насильственное распоряжение трупом кажется мне поэтому жестокостью и нарушением законов природы. . . А вот Златка, — перешел он в шутливый тон, — грозитя отпрепарировать — подари мне, говорит, свою голову! Каково это мне слушать!» — Разделяя проект лодки, я предложила ему прокатиться вместе, веселее будет. Он было уж согласился, — «по пути обоим» — да вдруг спохватился и даже рукой махнул: — «Нет, уж, благодарю покорно! с вами, пожалуй, опять курить стану, а я хочу явиться туда приличным покойником!»

\* \* \* \* \*

Герман Александрович уехал в Россию в 1913 году, а в конце 1915 и я вернулась из за-границы. Наша первая встреча в России была фантастическая. На следующий день по приезде в Москву я возвращалась с концерта вместе с родственницей Бальмонта, А. И. Ивановой. В ожидании трамвая на Театральной площади, мы вспоминали Ольгу Эммануиловну, ее приезд в Париж, — и тут к нам подошел Герман Александрович. Велика была радость этого перекрестка под яркими звездами морозной полночи, среди сугробов снега, санок, русской речи. Весь заиндевелый, в шубе и меховой шапке, Герман Александрович казался еще бодрее, увереннее, чем за границей, — итальянский фон, хотя бы и «с седыми валами и тучами», представился теперь игрушечным.

Нам троим было по-пути на Пречистенку, — поехали вместе. Оказалось, что он только сегодня приехал сюда с Кавказа, а завтра уезжает в Петербург. Он говорил: «Петербург». Я об-

радовалась. — «Еще бы! Ни разу не осквернил себя «Петроградом», — сказал Герман Александрович. А что же он делал на Кавказе? Пришлось лечиться! И рассказал, как этой весной поскользнулся ночью у Академии Наук, — там ведь никогда не счищают снега! — грохнулся, палка отлетела куда то, впотымах не видать, а без нее как встать! Гололедица, да и расшибся. Идет мимо старушка, остановилась, посмотрела: ишь, ханжи, видно, хватил! Я взмолился . . . ты бы мне, бабушка, хоть палку разыскала! расшибся я! — а она не верит, хочет уйти. — Да ты разгляди! — Убедил — стала помогать, да сама поскользнулась. То один поскользнется, то другой, — старые то мы оба. . . и смешно, и жалко. Кое как справились, и палку отыскали. Добрался до дому, да позабыл уж, что упал, только в боку все болело. Через несколько дней зашел знакомый врач, я ему пожаловался на боль — оказалось ребро сломано. Вот и пришлось лечиться».

Он зашел на следующий день, про Злату Александровну расспрашивал, я видалась с ней недавно, успокоила его, как могла. — «Эх, — одна там, бедняжка!» — и глаза стали далекие, как тогда, когда вспоминал про Шлиссельбург.

\* \* \* \* \*

В последний раз я видалась с ним в Петербурге в 1916 году. Он жил на Карповке, в «Доме Писателей» и был очень доволен обстановкой, — «тихо, уютно, чисто, и садик свой». — С любовью показывал письменный стол, и ящички удобные, тут же полка с книгами, «а здесь чай себе готовлю»... Видно, свежа была еще радость своего угла: здесь он был у себя дома. — Он только на-днях вернулся из больницы и еще не оправился: у него было воспаление среднего уха. — «Долго не соглашался на больницу, да врачи загнали: отказались лечить на дому и предупредили, что если запущу болезнь, придется череп пилить. Ну, это уж я не люблю, когда мне череп пилят — пришлось согласиться».

Его и теперь нельзя было «пожалеть»: побледнел, осунулся, но был все прежний Герман Александрович.

\* \* \* \* \*

Я уехала в Москву. А потом надвинулись события, переписка оборвалась. Из газет я узнала об изгнании «тоже — героями» Германа Лопатина (и Веры Засулич) из «Дома Писателей». И в газетах же прочла об его кончине. В больнице!

Что «загнало» его в ненавистную больницу? Я не знаю и боюсь узнать. Мне чудится жуткая, быть может, трагическая заброшенность...

Как то перешагнул он таинственный порог? Легка ли родная земля? Или лучше было бы «у самого моря — под южным солнцем»?...

Е. Ю Григорович.

Париж. 1926.